

Алексей ВОРОНКОВ

НОСТАЛЬГИЯ

Повесть

Галине Стойковой посвящаю

Помнится, к моему немалому удивлению, она тогда сказала, что рассказывать о себе не станет... Ну, немного, конечно, расскажет, но самое главное все же оставит для писем. И пусть наша встреча на далекой земле, в этой зеленой и славной Болгарии будет посвящена другому. Например, тому, чтобы я сполна познакомился с этой землей. И я, обалделый от того, что за тридевять земель от своего дома встретил знакомого мне человека, более того — друга своей юности, с готовностью принял ее вариант.

...Прошло уже несколько месяцев, как мы расстались. Я держу в руках ее первое письмо, читаю и не верю, что совсем недавно мы могли разговаривать с ней, не прибегая к «кириллице». Я помню ее обещание подарить мне эпистолярный «роман», из которого я смогу узнать драму ее, как она сама выразилась, сумасшедшей жизни... Узнаю ли? Собственно, зачем ей это? Излить тоску, грусть, душевную тревогу? Оправдаться? Или же укоренить меня в мысли, что ей живется прекрасно? Но ведь она уже говорила мне об этом, и я ей поверил. Поверил в то, что ее не тяготит жизнь среди чужого народа и что у нее даже признаков ностальгии никогда не случалось...

Но вот письмо. И, к моему удивлению, среди первых же слов было и то, которое, кажется, она уже отвергла.

«София, 1.02.

Только не надо думать, что это ностальгия. Бывают дни, когда письма сами собой пишутся. Жаль, что мы их не всегда угадываем и часто пропускаем.

Сегодня в Софии дождь. Вчера ночью он тоже лил как из ведра, а позавчера, днем, было семнадцать градусов тепла, что для конца января необыкновенно. Снег за всю зиму выпал только раз. Я помню даже точную дату — 11 декабря. Радости было на три дня... Но потом он растаял, стало грязно, серо и неудобно. Днем 31 декабря всю грело солнышко, на газонах зеленела свежая трава, и если бы не украшенные елки на площадях и мандариновые корочки под ногами, трудно было бы поверить, что это декабрь, что ночью встретим Новый год.

Завидую вам: у вас сейчас кругом лежит снег. Но я от такого избытка уже давно отвыкла, поэтому радуюсь тому, что есть.

В поисках снега в январе (русская привычка любить снег) я, кажется, объездила все горы Болгарии. Но снег будто бы смеялся надо мной: приедешь на иную горную базу — его нет, но стоит только мне ее покинуть — как тут же он выпадает...»



Алексей Алексеевич Воронков родился в 1947 году в Приамурье. После окончания Иркутского института иностранных языков учительствовал в таежном приискском поселке Токур, работал на Амурском радио редактором литературно-драматических передач. Ныне трудится в редакции областной молодежной газеты «Амурский комсомолец» в Благовещенске.

...Тогда, в октябре, до снега было еще далеко. И хотя погода была неустойчивой, все равно было по-летнему тепло, и я, едва успев устроиться в отведенном мне номере Международного дома журналистов, уже мчался к морю.

Море за несколько дней до моего приезда в Болгарию переболело штормом и теперь еще не успело оправиться от холодных течений и прийти в норму. Но разве остановит северянина суровый вид южного моря, когда он столько ждал встречи с ним! Проходя мимо одного из здешних отелей, я купил в почтовом офисе открытку, залпом выдал на ней не очень связную тираду и сунул послание в почтовый ящик. Все, подумал, что сделано, то сделано и его уже не переделаешь. И вдруг...

Вот это-то «не переделаешь» скорее всего и отрезвило меня. «Ну зачем я написал? — тоскливо зануло сердце. — Зачем людей отрываю от дела, зачем беспокою? Верка поди уже и не помнит, что я есть такое и с чем меня едят!»

А ведь мы когда-то и впрямь были будто бы родными братом и сестрой. Считай, с самых пеленок друг у друга на глазах, и все наши изначальные жизненные дороги шли бок о бок. С Веркой нас постоянно не только один подъезд роднил, но и общий детский садик, школа-восемилетка, где мы многие годы провели за общей партой, двор, общие детские игры... Когда настала пора выбора средней школы, то вновь оказались в одной и той же, только в разных классах. Впрочем, это обстоятельство не отдалило нас, и наша дружба, порожденная многими общими интересами, продолжалась. Более того, однажды она чуть было не перешла в иные отношения, но, попытавшись это сделать, вдруг споткнулась о свои границы и так и осталась в них навсегда. Мы слишком были друг для друга открыты, слишком много знали друг о друге, а на такой почве дела сердечные редко зацветают.

Какой я помню Верку в пору нашей юности?

Замечено, что наш провинциальный люд менее агрессивен к жизни, чем те же, к примеру, столичники. У него меньше запросов, меньший заряд, как сейчас принято выражаться, социальной активности, он даже как будто ленив и сонлив, и лишь щедрость его сердца, природная доброта, терпимость ко всему и вся позволяют говорить о том, что он, этот провинциальный люд, по-своему хорош. Но вот что касается Верки, она хотя и была выкорышем маленького города, в ее характере, увы, было больше от города большого. Где этому корни — не известно, только своей заведенностью, своей страшной активностью в любых делах, будь то дела в известной степени нормальные, а то и, наоборот, вовсе ненормальные, она поражала всех, кто ее знал. В детстве она своим примером могла увлечь всех пацанов нашего дома в драку, которую считала лучшим средством (во всяком случае гораздо лучшим, чем, скажем, бесплодное митингование) в борьбе за справедливость. Тем самым учила нас твердо отстаивать свою честь, свою правду, свои

принципы, что, кстати, пригодилось в жизни не только мне, но и многим из моих товарищей. А это уже само по себе не забывается.

И вот еще одна характерная деталь. В юности Верка, сама обладая высокой мерой справедливости, хотела и в окружающих видеть эти качества. Хорошо помню, как она, невзирая на ранги, звания и возраст, готова была начать словесную схватку с любым, кто вступал в конфликт со своей совестью или же поддавался иным порокам. Увы, насколько я помню, такие, казалось бы, светлые качества, как обостренное чувство справедливости или же нетерпимость к людским порокам, в те годы встречались без энтузиазма, поэтому Верке сильно доставалось и на ней постоянно были навешаны какие-нибудь ярлыки. Например: бузотерша, невежа, неисправимая, девочка с гнилым запашком, ненадежная... Были еще и другие, но я уже их не помню. Помню только одно: хотя по своей натуре она, быть может, и была бузотершей, но бузотершей справедливой. Обвинять же ее в ненадежности, в том, что от нее исходит «ненашенский запашок», было глупо, и это особенно очевидно сегодня, когда таких, как Верка, стало миллионы, и их относят к когорте правофланговых переделывающего себя к лучшему общества. Теперь-то я понимаю, что все те давние ярлыки были для тех, кто их вешал на Верку, просто-напросто средством защиты от ее справедливых ударов. Но сегодня есть сегодня, а вчера было вчера...

Несомненно, Верка была верховодом. У нее и облик-то был подходящим. Высокая, крепкая, с развевающимися по ветру темно-пепельными длиннющими волосами, она была миловидной, если даже не сказать — красивой девчонкой. Дьявольски изобретательная по своей натуре, хорошо начитанная, прекрасная рассказчица, она пользовалась у ребятни огромным успехом. И это было справедливо. «Ой, быть тебе, девка, учителкой», — не раз говорила ей наша соседка тетя Поля, восхищаясь ее даром верховода.

Но она не хотела быть «учителкой», потому что ее больше прельщали романтические профессии. Ведь в ней сидел бес. Помню, как на вопрос, кем она хочет быть, Верка сказала, что или же журналисткой, или разведчицей. Как Рихард Зорге, тот, который был так популярен у детворы нашего поколения... «Поэтому мне придется, может быть, даже не выходить замуж», — говорила на полном серьезе моя подруга. Мне после этого стало казаться, что Верка взаправду готовит себя к будущим испытаниям: зимой она занималась в лыжной секции, летом — подводным плаванием, где она добилась неплохих результатов, неоднократно становясь призером, а то и чемпионом на соревнованиях довольно высокого ранга. Вода, помнится, вообще была ее стихией. Если не изменяет мне память, Верка у нас в городе была первой, кто встал на водные лыжи. О, это было зрелище! Помню, как однажды летом заполошно влетает в наш двор не знакомая нам женщина.

— Лида! Лида! — кричит она, издали завидев Веркину мать. — Ты иди-ка на реку... Там твоя доня такое выдает на воде, ажно страшно говорить...

Мать, с перепугу даже не сняв с себя передник, чуть не из окна второго этажа вылетела на улицу и сломя голову (а за ней, естественно, и мы, ребятня) помчалась на реку. Когда мы прибежали, то увидели незабываемое: на всех парах вдоль берега мчится серебристый катер и за собой на веревке тащит скользящего по воде на двух деревьяшках человека, который весело смеется, пищит и машет нам, многочисленным зрителям, рукой. Это был класс!

Вот еще несколько обрывков далекой памяти.

Наш класс тихо-мирно сидит на уроке литературы, вдруг с шумом раскрывается дверь и к нам вламывается один ухарь из параллельного. И прямо с порога:

— А мы бастуем...

«Забастовка», «бастуем»... Эти слова были несслыханными в ту по-

ру. И допустимы они были только в учебниках по истории. А тут вдруг — бунт в средней школе провинциального городка.

А «забастовка» и в самом деле была. Потом мы даже узнали, кто был ее зачинщиком. Конечно же, моя подруга Верка! Причиной явилось то, что завуч школы привселюдно оскорбила, притом безо всякого основания, двух ребят.

Ох, и шуму-то было! Веркиных родителей без конца вызывали в школу. Верку таскали в гороно, в горком комсомола, где ее поступок был оценен, как «вредный и недостойный звания советского школьника». Короче, дело чуть было не дошло до «волчьего билета» и до исключения из комсомола. Слава богу, и тогда нашлись умные люди, которые не дали Верку на растерзание.

«...Ну ладно, хватит болтать о погоде, пора переходить к тому, что я тебе обещала. Я имею в виду мой «эпистолярный роман»... Хотя слово «роман» слишком уж громкое для меня. Давай договоримся так: это будет драматическая повесть. Я постараюсь тебе рассказать быстро, но торопить себя не буду. Слишком много сил потребуется для этих в общем-то несладких воспоминаний... А ты, если хочешь, читай и посмеивайся надо мной, непутевой. Но все же постарайся понять меня и оценить все мои поступки не через ключья прошлого тумана, а с сегодняшней колокольни здравого смысла. Попробуй. Мне это очень важно. Ведь мало осталось людей, от которых я жду прощения...

Ну вот, слушай. Я прекрасно помню то время, когда вдруг в один прекрасный день прощальным фейерверком отпылала и распалась наша дворовая дружба. И тогда я поняла: нашей юности уже нет, мы стали взрослыми. Мальчишек тогда всех позабирали в армию (кстати, тебя тоже), девчонки разбрелись замуж и по институтам, и я оказалась впервые за свою жизнь в тоскливом одиночестве. Вот это та черта, после которой вся моя дальнейшая жизнь становится для тебя темным лесом. Мы никогда больше с тобой не встречались и по каким-то неясным для нас обоим обстоятельствам (мы об этом уже говорили с тобой в Болгарии) даже не вели переписку. И это больно сознавать. О, как мне в те годы не хватало лишнего родного слова, взгляда, письма... Сегодня верю: нет ничего крепче, чем поддержка старого друга.

Почему я вдруг оказался в педагогическом? Думаю, это трудно-объяснимо. Может быть, оттого, что в одиночестве у меня поубавилось романтики и я вдруг стала думать о серьезном: где мне найти свой интерес, где я больше всего принесу пользу людям? Скажу тебе честно (но не дай бог, если это прозвучит высокопарно): в педагогический я пошла для того, чтобы у меня в будущем появилась реальная возможность бороться с той рутинной, которая тогда нас окружала. Как я мыслила себе эту борьбу? А очень просто: я буду воспитывать бунтарей с высоким классовым сознанием и чистой душой. Буду обязательно, чего бы мне это ни стоило!

Знаешь, еще тогда своим незрелым девичьим умом я начинала понимать, что нас всех поразила невидимая глазу скверна, что мы впали в кому, у нас расстроилось сознание... Мы блаженно самолюбовались. Перетасовав историю, начали завираться и наконец дошли до того, что стали «спускать Полкана» на тех, кто мыслит иначе. Мы их даже пробовали выдавать за врагов Отечества, и у нас порой это получалось. Что касается меня, то во мне против этого постоянно бушевал протест. Я только не знала, каким образом его лучше выразить, поэтому делала много глупостей, за которые мне порой поделом и доставалось. Например, не забыть мне никогда один эпизод из своей биографии, над которым сегодня можно и посмеяться и поплакать.

Однажды мне втемяшилось в голову создать из самых интересных и дельных ребят нашего филфака какое-нибудь, так сказать, «тайное»

литературное общество (почему непременно «тайное»? Да потому, что тайных, или же, как сегодня говорят, неформальных, объединений молодежи тогда, по известным тебе причинам, вообще не было). Конечно, упаси бог, чтобы оно было идейное, как, допустим, у петрашевцев. Нам нужен был свой круг, где могла бы отдохнуть от лозунгов душа, где звучали бы обыкновенные, добрые, умные человеческие слова, по которым мы тогда страшно тосковали. В общем, хотелось раскрепостить свою душу, и больше ничего. А тут вдруг к нам на факультет после армии пришли интересные ребята, с которыми мы и придумали это свое общество под романтично-детективным названием «Синяя борода».

Чем мы занимались? Издавали свой рукописный журнал, в котором публиковали свои опыты. Пробовали говорить «остренько», но не хватало силенок. Поэтому обращались к вольной русской поэзии прошлого. Помнится, сама переписывала от руки Веру Фигнер:

О нашем будущем мечтая,
Хочу, чтоб ты дождался дней,
Когда страна наша родная
Вздохнет вольней...

Сегодня уже можно честно признаться: тогда где-то в глубине души мы уже чувствовали, что новый мир, новые отношения стучатся в наши двери, хотя стук еще был едва слышным...

А еще мы то и дело устраивали свои «съезды». Это было повеселее наших факультетских собраний! На собраниях мы были искусственными мальчиками и девочками, какими нас хотели видеть старшие. Здесь мы были самими собой! Мы пели наш гимн «Синяя борода», который придумали все вместе, захлеб читали свои и хорошие стихи, плакали и смеялись, ругались и мирились, и каждый, даже самый тихий из нас, самый в обыденной жизни «безголосый» пытался высказаться, выплеснуть из души наружу всю накопившуюся горечь, в конце концов, в наивысшей точке своего волнения и откровенности, обнять всех и расцеловать.

Когда нас, «разоблаченных», выставив перед большой аудиторией, шельмовали, аудитория разделилась на две половины. Студенты младших и предвыпускных курсов нас защищали. Выпускники в канун государственного распределения — судили. Помнится, в первую очередь нас спросили, что означает название нашей организации и почему мы выбрали именно его. В ответ кто-то из наших сказал: «Почему именно синей? Да мы было хотели назвать ее, то есть бороду, желтой, но потом посчитали, что синяя как-то красивее...» В общем, мы пытались объяснить нашим судьям, что это название, равно как и само общество, никакого криминального заряда в себе не несет и что объединились мы вместе только потому, что нам надоели старые формы работы, а также наша мнимая активность и безрадостное существование.

Сегодня «Синяя борода» мне, естественно, кажется наивом нашей молодости, но воспоминания о ней радуют. Наверное, потому, что в глубине души я с тех самых пор ношу чувство маленькой победы. Сам подумай: разве легко было ТОГДА решиться на такое? Но мы решились, мы и ТОГДА жили и чего-то хотели...»

После вечерней хмури день народился ясным и богатым на краски. Высокое небо было отгрунтовано лазурью, темная полоса растительности, что шла вдоль моря, выглядела уже изумрудно-зеленой, как и гряды гор, уходящих от Золотых песков к Варне. Густо пахло травами, медом и фруктами.

После завтрака я поднялся к себе на четвертый этаж, переоблачился в пляжный костюм и, удобно устроившись в шезлонге, отдыхал. Было уютно и тепло. Я похрустывал яблоком и с удивлением думал:

а у нас, там, на севере, уже и лужи по утрам поди замерзать стали. Внизу, у ресторана, собирая желающих на экскурсию, ворковала с легким южнославянским акцентом переводчица русской группы Надя Камбурова.

Что касается меня, то я избегал традиционных курортных удовольствий. Не ездил на экскурсии, не участвовал в прогулках в близлежащие курортные комплексы и даже на пляже позволял себе появляться исключительно в ранние утренние часы. Ждал Веру.

С момента, как я отослал открытку, пошел уже четвертый день, но ее, Верки, все не было. Хотя должна ли она была приехать? Ну, допустим, допустим, думал я, она по старой дружбе может и откликнуться, если, естественно, находится в Софии, может прислать писульку, поздравить с приездом, даже ради приличия пригласить к себе в гости, но не должна же она, бросив все, мчаться за сотни километров к человеку, который наверняка должен был раствориться за эти долгие годы в ее памяти... Этак, думал, за каждым не наездишься — ведь, без всякого сомнения, каждый год кто-нибудь из ее знакомых да отдыхал в Болгарии. Что ни говори, а это у нас самый наезженный туристский путь...

Я с интересом и любопытством рассматривал по-хозяйски разгуливающего на газоне в платаново-кипарисовой рощице альбатроса, видимо, прилетевшего сюда с моря, когда до меня долетел снизу приятный хриплый говорок пани Ванды, пожилой польской поэтессы, ставшей за свой добрый и общительный характер уже в первые дни отдыха всеобщей любимицей Дома журналистов. Она, казалось, владела всеми языками и наречиями, которые нам были известны, поэтому легко сходилась с любыми отдыхающими. На этот раз она говорила по-русски:

— Да, да, — отвечала она кому-то. — Это первый корпус... — и тут же, как обычно, без всяких условностей: — А вы русская? Вы приехали отдыхать?.. Нет? О, вы русская и живете в Болгарии... У вас здесь отдыхает друг?.. А как его фамилия?

И тут я вдруг понял: что-то произошло. Даже до того момента, когда чей-то негромкий голос назвал мою фамилию, кровь залила мне лицо и гулко запульсировала в висках. «Это обо мне... Это... она!» Я бросился к краю лоджии и лихорадочно стал искать человека, который спрашивал обо мне.

Внизу, возле ступенек, ведущих в наш отель, кроме пожилой польки находилась еще одна женщина, только гораздо моложе возрастом. Она была довольно высокой, коротко стриженной, крепко скроенной, но несущей на себе, как мне показалось, отпечаток строгих французских диет. На ней был скромный свитер и модные голубые в крапинку джинсы.

Внезапно пани Ванда подняла вверх глаза, прошла ими по этажам и, не найдя никого, кроме меня, обратилась ко мне на польском. Поняв, что я в ее языке ни бельмеса не смыслю, она немного растерялась, но в этот момент коротко стриженная женщина взметнула свои большие и, как мне показалось, напряженно-печальные глаза вверх:

— Миша... Мишенька, это ты?..

— Да... я. А ты... — Растерянный, я даже не мог произнести это имя, боясь, что непременно ошибусь и вместо нее окажется совершенно иной человек. — Ты... Вера?

— Конечно! — Большие, иссиня-нервные глаза впились в меня и уже не отпускали от себя. — Мишенька, я здесь, здесь...

Не помню, как я сменил пляжный костюм на джинсы и рубашку, как впопыхах закрывал номер, только помню, как, выскочив из отеля, я прямиком попал в ее полуобморочные и нервные объятия.

— Мишка, Мишенька, — шептала она. — Неужели это ты? Миша... Мишенька. — И снова: — Неужели это ты?

— Я, конечно, я... Ну а ты молодец, все же приехала. Ведь, навер-

ное, не близко... София далеко отсюда? — попробовал я перебороть волнение и заговорить обычным человеческим языком.

— Недалеко, совсем недалеко, — не выпуская меня из своих объятий, говорила взволнованно она. — Тебе было дальше ехать... Гораздо дальше.

Она говорила, а лицо ее скупое орошали слезы. Так скупое, будто бы их у нее был невеликий запас... Лицо же оставалось бледным, и лишь большие темно-синие круги вокруг ее глаз оживляли его застарелой тоской...

Так мы стояли с ней долго. Пани Ванда, отойдя в сторонку и закурив сигарету, с нескрываемым интересом наблюдала за нами, будто бы и сама переживала радость от необычайной встречи.

«София, 20.02.

Милый друг, с наступающей тебя весной. Хотя какая еще весна у вас!

А у нас дожди. Снег, выпавший однажды, давно уже растаял, так и не успев порадовать нас своим запахом зимних яблок, как запомнила я еще в России. Он, этот запах, обязательно появлялся в Новый год, а потом жил еще долго-долго, пока не надоедала зима... Пишу: «пока не надоедала», а сама не верю, что настоящая зима может кому-то надоесть. особенно, если он русский...»

Она рассуждала о нашей зиме, а мне чудилась ее тоска. И никакие заверения ее в том, что она давным-давно не испытывает отчаянной тоски, меня не сбивают с толку. Я чую: ее тоска и сегодня продолжает расти.

«Ты пишешь, что с интересом прочитал вступление к моей «эпистолярной повести», и просишь меня продолжать свой рассказ. Что ж, если это так...

В общем, худо-бедно, но моя учеба в педагогическом продолжалась. После второго курса я, как мне думается, довольно успешно прошла практику в пионерском лагере, а в августе мне предстоял отдых в Югославии. Знаешь, весь год, урезая себя в чем-то, скопила немного денег, частью родители помогли — вот и решила посмотреть, чем живут люди в иных весях, чем дышат. Но если б ты знал, каких сил мне стоило попасть на этот отдых! Всю душу вымотали, прежде чем выпустили за границу. Надо же, их моя наивная «Синяя борода» (я о ней тебе рассказывала в прошлом письме) сильно тревожила. Ты мне говорил, что сегодня бюрократия немного сдала свои позиции, но тогда... Страшно подумать — хоть совсем из дому не выходи...

Если ты помнишь, в ту пору обстановка была несказанно накалена. На востоке бывшие друзья на границах шабаш устраивают, в Европе тоже друзья против чего-то бунтуют (кстати, нам так толком тогда и не объяснили, что там происходит и зачем мы на чужую территорию вводим войска). Во Вьетнаме бойня. Не мир, а пороховой погреб. Вот мне и интересно было понять, почему против нас, таких хороших (а нам это с молоком матери вдалбливали), повсюду и друзьями и недругами козни строятся...

В нашей «югославской» группе народ подобрался разномастный: и рабочие, и селяне, и представители интеллигенции. Из студентов была я одна. Руководителем группы ехала некая Лапицкая, инструкторша одного из райкомов партии...»

«Лапицкая, Лапицкая... — мелькнуло у меня, — Уж не та ли это Лапицкая, которая заправляет сегодня в нашем горкоме?»

«...Вот ей, этой Лапицкой, и суждено было сыграть в моей судьбе не последнюю роль...»

Чтобы ты хорошо мог представить эту особу, я постараюсь по памяти описать ее тебе.

Довольно моложавая, с ярко крашенными в рыжий тон волосами, уложенными в высокую прическу, какие в ту пору носили, как мне сегодня кажется, канцелярские и исполкомовские дамы. Одета она была очень дорого, но безвкусно, как одеваются люди, пытающиеся показать в себе то, чего на самом деле отродясь в них нет. Но самым примечательным в облике Лапицкой были ее глаза, черные и пронзительные. Мне до сих пор думается, что зрачки этих глаз были вертикальными, словно у щитомордника. Знаешь, есть такие змеи...

С самого начала наша руководительница по каким-то ведомым только ей причинам невзлюбила меня. Неужели оттого, что мужчины нашей группы оказывали большее внимание мне, зеленой птахе, чем ей? Неужели ревновала? Но легко осуждать дураков на расстоянии, гораздо тяжелее выносить их рядом с собой.

Еще в Москве, когда мы мучились в тоскливом ожидании самолета, я подверглась первым нападкам Лапицкой. О, она сумела показать свои острые зубки, мол, смотри, с кем имеешь дело.

Чтобы скоротать время, мы зашли с двумя нашими мужичками в бар, выпили по коктейлю и немного поболтали. Увы, это не понравилось нашей «матери-игуменье», как мы ее прозвали, и она сурово отчитала... Думаешь, тех взрослых мужиков, которые меня пригласили в бар? Естественно, нет. Она выговорила мне. К тому времени я уже кое-чего насмотрелась в жизни, но никогда не думала, что из всех человеческих глупостей самодурство есть самое худшее, что можно только придумать.

— Лукошок! — тоном старшей монахини (а я тогда не могла еще знать, что этот тон будет самым мягким из того, на что она способна) обратилась она ко мне. — Если так дело пойдет, то мы с вами расстанемся прежде, чем группа сядет в самолет.

— Но, Любовь Ефремовна!.. Мы же не на армейском плацу. — О, я не знала тогда, с кем имею дело, поэтому продолжала в том же духе: — Вы знаете, я читала, что не следует человеку отказываться от получения тех впечатлений, которые могут обогатить его...

Этого было достаточно, чтобы под сводами международного аэропорта через секунду раздался маленький салют человеческой тупости, когда беспричинно один человек становится другому врагом. Я с недоумением смотрела на Лапицкую, а в голову уже лезли строки Исикавы Такубоку:

На морду животного похоже
Было его лицо.
Говорил он,
Но казалось,
Только рот раззевал.

В общем-то, я тогда поняла, с кем имею дело, и во мне зрело чувство, что мне еще предстоит по-настоящему столкнуться с зубами этой дамочки, которая, как мне казалось, привыкла повелевать, а не быть просто товарищем. «Почему, ну почему такие руководят нами? Или же так предписывают законы нашего общества?» — задавала я себе вопрос, но долгие годы не могла найти на него ответ.

Я где-то читала, что каждый из нас обязательно чей-нибудь родственник, друг да и враг тоже. Но первое мне казалось понятным, а вот почему обязательно — враг? С этим я была не согласна, потому что была уверена, что врагов выдумывают сами люди. Не объективные обстоятельства порождают их, а мы сами. Значит, в наших силах сделать так, чтобы их вовсе не было, значит, все зависит от нашего рассудка, нашей терпимости, нашей воспитанности...

Но Лапицкую, видимо, не волновали подобные проблемы, поэтому уже на второй день нашего пребывания в одном из белградских отелей мне был нанесен сокрушительный удар, который, и я в этом до сих пор уверена, был тщательно продуман и подготовлен.

Итак, утром второго дня Лапицкая вдруг объявляет о том, чтобы все юристы нашей группы немедленно сдали ей наши заграничные паспорта. Кстати, с какой целью это делалось, так и осталось для нас загадкой. Но сегодня я прекрасно помню ту нетерпеливую суетливость, ту злорадную усмешку в глазах руководительницы, когда она собирала наши документы, наблюдая за тем, как я, обескураженная и растерянная, на ватных ногах бегала по этажу и повсюду искала невесть куда задевавшийся паспорт. Помню, в тот день паспорт мой так и не нашелся, и Лапицкая стала грозить мне всякими карами. «Откуда, — говорит, — я могу знать, что ты его не загнала за валюту какому-нибудь империалистическому проходимцу!» Да, да, она так и выразилась, поэтому можно было представить мое самочувствие в тот момент.

Паспорт нашелся на следующий день. Было это так. Собравшись с духом, я предложила Лапицкой немедленно идти прямо в наше консульство, и пусть там со мной делают все, что хотят. Но она вдруг, как будто чего-то испугавшись, заявляет мне, что из-за какой-то непутевой дуры не желает портить себе отпуск и поэтому предлагает еще немного подождать — авось документ все же найдется. И он в самом деле нашелся. Когда перед сном я стала разбирать свою постель, то краснокорая пропажа выпала у меня из подушки...

— Ну что, нашелся все-таки?... — невинно спросила Лапицкая, когда я, радостная, прибежала с документом на порог ее апартаментов. — Смотри, Лукошок, доиграешься... Чует мое сердце, что из-за тебя меня одни лишь несчастья ждут в этой поездке.

Я хотела ей сказать, что я не виновата, что тому, на кого она положила глаз (а это был один районный прокурор), больше нравится молоденькая глупышка, чем располневшая мымра, но сказала иное, что укололо ее не меньше:

— Счастлив тот, Любовь Ефремовна, кто доставляет много счастья другим... Как сказал один из героев Паустовского...»

Она устроилась в отеле «Амбассадор», что на Золотых песках, и сказала, что у нас с ней в распоряжении целых три дня.

— Ну, с чего, мой старый товарищ, мы начнем? — не отрывая от меня своих больших глаз, обрамленных незнакомой мне (впрочем, незнакомо в ней для меня сейчас было все!) синевой, как-то просто и буднично спросила она, как будто мы вовсе и не расставались никогда. Но какой же у нее был потрясающий акцент! Что это, подумал я, показное, или же Верка в самом деле стала той частью эмиграции, которая потихоньку теряет все нашеньское? Впрочем, пройдет время, и я пойму, что красование «ненашенским» ей чуждо, да она попросту об этом не думает. Более того, часто во время наших бесед Верка, на самом деле забываясь, выдавала мне целые тирады на языке братских славян и порой, спохватившись, что перед ней сидит не представитель ее нового отечества, начинала истово извиняться и корить себя.

А в первую очередь она все ж хотела, чтобы я подробнейшим образом рассказал ей о себе, ибо понимала, что все происходящее ДОМА преломилось во мне, и, узнавая многое из моей жизни, она тем самым поймет, чем дышит не только ее Родина большая, но и родина малая, свет которой до сей поры, и это я понимал, горит в ее душе. И нужно было в тот момент находиться рядом с нами, чтобы поверить тому, как можно воистину и неподдельно любить то, что сегодня тебе не принадлежит.

Чтобы нам никто не мешал, мы отправились в расположенный на полпути к Варне курортный комплекс «Дружба».

Генистая лесопарковая зона «Дружбы», выходящая к морским пирсам и пляжам, была сплошь заселена магазинчиками, кафе и прочими полезными человеку вещами. Но было здесь и много укромных

уголков, где можно уединиться и побыть в тишине, выйдя из-под людского глаза. Мы с Веркой выбрали необитаемый островок в виде небольшого, на три столика, кафе под открытым небом, заказали по рюмке ракии и, запивая виноградную водку терпкой кока-колой со льда, неторопливо повели наши беседы.

Верка, словно наконец очнувшись после первых минут нашей встречи, преобразилась и теперь выглядела пусть даже и не совсем еще прежней, которую я помнил из далекой юности, но проблески этого прошлого уже появлялись и в ее облике, и в ее поведении.

— Ты бываешь в Союзе? — спросил я у нее.

— Бываю, но редко, — отвечала она. — Но в том не моя вина. Слишком уж бесчеловечные препоны поставлены бюрократией на пути ДОМОЙ перед такими, как я...

— Чьей бюрократией? — не понимаю я.

— НАШЕЙ, — улыбается, и я прекрасно понимаю, что она имеет в виду.

Потом я попросил ее рассказать о своих родителях, о том, как они жили все эти годы с той поры, как вскоре после Веркиного отъезда в Болгарию покинули наш город («от стыда») и обосновались за тридевять земель от него. И она мне рассказала. При этом очень сильно обижалась на отца, который до сей поры никак не хочет понять ее поступок и считает, что, покинув Родину, она тем самым предала ее. Это потом, в одном из своих писем она мне расскажет об истинных корнях этой обиды, когда в поисках ответа на мучающие ее вопросы она обратилась за разъяснениями к отцу.

«Для меня тот период, — писала она мне, — был каким-то непонятным. Мне казалось, что страна развивалась не вперед, а в какой-то закуток, в аппендикс. Решила поговорить обо всем этом с отцом. Думала, он мужик умный, фронтовик, старый коммунист, в конце концов, сын своих родителей-большевиков, расстрелянных по личному распоряжению высокого кремлевского начальства... Увы, и он, уподобясь многим, сказал мне, чтобы я немедленно выбросила эти «диссидентские» мысли из головы, что не ровен час и... А вот тут-то он и попался на удочку, как на нее, впрочем, попались и другие, к кому я потом обращалась. Ведь что они говорили: не смей порочить нашу здоровую действительность, в которой нет места ни культам, ни репрессиям, а также всякой несправедливости. А не то... «Так что — «а не то...»?» — спрашивала я их. Оказывается, они были не уверены, что такие разговоры сойдут мне с рук, предупреждали, что в любой момент может оторваться прошлое. «Ах, вот оно как! — восклицала я. — Вы допускаете, что я могу пасть жертвой новых репрессий? Тогда вы просто противоречите себе, заявляя, что у нас сегодня все в порядке...»

— Знаешь, — говорила мне Верка задолго до этого письма, когда мы сидели и наслаждались одиночеством в том славном лесном кафе, — у отца и сегодня остался старый подход к жизни. Я ему при встрече: ну вот, видишь, все оказалось в жизни не так, как ты думал... Наше общество было очень больным, а многие твердили, что оно здорово. Если бы это было так, тогда зачем нас сегодня призывают его лечить? А он мне продолжает твердить: ты осталась такой же несправимой... Ну а когда разойдется, то и вовсе начинает исходить паром прошлого: нет, не зря мы от таких, как ты, в свое время избавлялись, не зря вас палками гоняли... И мне страшно становится от того, что мой родной отец так никогда ничего и не поймет, так и не примет новое время.

Я слушал ее и удивлялся, как этот человек непримирим к тем, кто живет в настоящем, а дышит прошлым, как она здесь жестока к собственному отцу... И я вдруг вновь ощутил ее той, прежней — непокорной и вольной, справедливой и упорной до крови в губах...

Проголодавшись, мы с Веркой отыскивали уютный ресторанчик и вошли под его своды. Там было чисто, красиво и уютно.

Когда мы выпили по первому фужеру, она вдруг засмеялась совсем по-девчоночьи и, кивнув на фрукты, что лежали в вазе на нашем столе, дескать, не забывай закусывать, сказала:

— Мишик, я последние годы вообще не пробовала хмельного... Будто бы и праздников вовсе не было. Но сегодня я хочу напиться. Давай напьемся, а, Миш?

Потом нам приносили чудесное «Пино шардоне», которое, не допив, мы сменили на «Варненский мискет». Потом, уже, кажется, ничего не желая, мы попросили гроздовой ракии, и в конце концов нам стало смешно и весело от того, что мы и в самом деле напились. Наш стол ломился от недоеденных болгарских яств, которыми Верка потчевала меня. Здесь, казалось, была представлена вся болгарская кухня, начиная от таратора и чорбы и кончая свиной по-сегедински и брынзой по-шоппски. И хотя мои глаза еще были в состоянии смотреть на эту невиданную изысканность, желудок мой гнал меня уже от стола, так как давно был полон. Тем не менее было весело, и нам никуда отсюда не хотелось уходить.

Неожиданно из дальнего угла, где сидела большая веселая компания поляков, понеслась песня. Она была сродни нашим тогдашним переживаниям, поэтому мы с Веркой восприняли ее всей душой. И хотя песня звучала на польском, каждый из нас давно знал, о чем она, ибо песня была тогда очень популярной повсюду.

Идет весна с востока,
Идет весна, действительно идет...
Может, весна удержится у нас?
Останется у нас?
Может, наконец, сбегут те,
Которые мешают жить...
Есть тогда повод к тому,
Чтобы говорить, что идет
Новый способ жизни,
И уйдут те,
Которые привыкли к пустословию
И лжи.
Возвращаются домой те,
Которые давно там не были.
Весна веет так,
Что приятно жить.
Надо проветрить кабинеты
С восковыми фигурами.
Михаил-обновитель
Сыплет зерна
В черную землю...

— Ты понимаешь, о чем эта песня? — зардевшись, спрашивает Верка.

— Да, понимаю, — говорю я и улыбаюсь. Нам весело от того, что, хотя жизнь и покрутила нас, и помяла, и по свету разбросала, мы все равно продолжаем жить, потому что эту жизнь любим. И дожили ведь, черт побери, дожили до того, что и дышать стало легче, и друг другу в лицо смотреть приятнее, и ходится вольготнее, и спится спокойнее... «Может, пока и не совсем еще, — глянув на синие круги под ее глазами, подумал я, — но все же...»

Видимо, необыкновенная атмосфера вечера отогрела Веркину душу, она переменилась, похорошела. Все сейчас было гармонично и красиво в ней: и эта горделивая осанка, и чуть откинутая назад голова, и четко очерченные брови, разбегавшиеся к вискам, как два приподнятых кры-

ла альбатроса, и ее глаза, то изумрудные, то цвета морской волны, то пылающие, то просветленные — в зависимости от того, какая борьба в тот или иной момент в ней происходила...

«...Ну вот и я приближаюсь к той черте, от которой в моей жизни начинается новый отсчет времени. До сих пор думаю, а могло ли произойти все по-иному. И сама же отвечаю: для меня — нет, потому что ТОГДА, когда существовала опасность споткнуться и о перышко, брошенное под твои ноги, такие, как я, обязательно должны были влипнуть в какую-нибудь историю. И пусть даже не было бы Югославии, я все равно бы не смогла пройти весь этот путь до сегодняшнего дня, «не замаравшись»...

Из Белграда мы тогда переехали на море, где и стали смолить свои бледные северные тела под жаром южного солнца. На море, тем более на море «заграничном», я была впервые, и это стало великим испытанием на радость. Так все было здорово, так необычно, и, если бы не неусыпное око нашей матери-наставницы, мне бы показалось, что я попала в рай. А так — туда нельзя, этого не можно... А где и что можно, спрашивали мы ее. А она, со своей неразделенной любовью к районному прокурору мстила за свое пакостное душевное состояние всем, правда, кому больше, кому меньше. По правде сказать, она давно готова была дойти до крайней точки самодурства и тупого деспотизма, но что-то ее до поры удерживало у последней черты, что-то еще не давало завестись на всю катушку. Но к этому, как мне думалось, она уже была близка. Вся ее «организаторская» работа в тот момент заключалась в том, что она непрерывно раздавала направо и налево свои дикие угрозы. Лапицкая обещала очередному «вероотступнику» по приезде домой страшную кару. Какую — зависело от его социального положения в обществе. Поэтому одним грозила взбучка по партийной, другим по административной, третьим по комсомольской линии. И все бы это выглядело смешным и диким — не более, кабы каждому из нас не были известны случаи отвратительных расправ над «проштрафившимися» туристами, что в то время было обычным делом. Поэтому исключительное большинство отдыхающих нашей группы смертельно боялось тех угроз, что непрерывным потоком сыпались из уст наполеончика в юбке, и старались заискивать перед ней. И это со стороны выглядело таким нелепым, что походило на сцены из щедринских бессмертных творений. Дошло до того, что дамоклов меч наконец завис и над прокурором районного значения, который, ухаживая за другими купальниками, впал в немилость Лапицкой. Запретное всегда манит своей загадочностью. Запрещая после десяти вечера покидать отель, Лапицкая тем самым лично у меня вызывала страшное любопытство и желание хотя бы одним глазком посмотреть на ночную жизнь курорта, в которой участвовали отдыхающие из всех уголков мира, кроме наших. О, сколько недосказанного, загадочного и потаенного слышалось в словах бывалых, кто когда-то где-то имел возможность посмотреть эту жизнь! И вот я решила, что обязательно должна почувствовать то, что чувствуют другие люди, увидеть то, что видят они. Кто сказал, что советский человек не дорос до общечеловеческих традиций, что он превратнее понимает истину! Почему существует это дурацкое неписаное правило: там, где можно всем, — нельзя нам... Вот с этими мыслями я однажды, набравшись смелости, и спустилась в ночной бар... Честно скажу, вся обстановка его, весь тот настрой веселья, что царил в баре, меня, человека, никогда не испытывавшего ничего подобного в жизни, сильно поразили. Конечно же, ничего аморального, чем нас постоянно пугали наши наставники, и криминального я там не увидела. Единственно, что поняла, так это то, что люди, приехавшие после года утоми-

тельных будней отдохнуть и повеселиться, предпочитают это делать не только днем, но и вечером, и даже ночью. Спрашивается, а что в этом плохого?

На следующий день я поделилась своей тайной с одним пареньком из нашей группы, и, еще более осмелев (а Лапицкая сказала бы — «обнаглев»), в следующую ночь я вновь оказалась в баре, но уже в сопровождении кавалера, который тоже загорелся нарушить табу. В этот раз мне, немного освоившейся, показалось здесь еще интереснее, и ночь пролетела для нас как одно мгновение.

Днем, как обычно, я была на море, где тысячи людей ежедневно, подобно мне, заряжали свои организмы солнечной энергией, на глазах становясь более здоровыми и красивыми. За эти два последних дня моя душа, видимо, переменяла русло, и мне стало веселее жить. Меня охватило чувство маленькой победы: я уже дважды провела несправедливую нашу опеку, вкусив запретный плод.

Андрюшка, так звали второго заговорщика, теперь уже не отходил от меня ни на шаг. Он понял, что возле меня будет весело, и жаждал новых приключений.

Крепко посмуглевшие за эти дни, словно отлитые из бронзы, мы побросали свои тела на раскаленный песок и, чутко дремля, потихоньку отходили после бессонной ночи. Нет, мы не выглядели усталыми. В молодости бессонная ночь редко оставляет свой тяжелый след, но вот след легкий, загадочный, желанный она оставляет, и ты не мучишься под гнетом этого следа, а живешь прекрасным ожиданием будущего. И я этим тоже теперь жила, потому что, казалось, забыла все неприятные минуты, связанные с первыми злополучными днями пребывания в тургруппе, забыла, что есть на свете такие люди, как Лапицкая, цель которых, а в этом я была тогда уверена, как можно больше испортить людям крови. И от этого я уже была счастлива.

— Интересно, — сказал Андрюха, — кто-нибудь сможет доплыть вон до того камня? — И он кивнул куда-то вдаль.

Эти слова вывели меня из дремы, и я, приподнявшись на локте, посмотрела туда, куда обращен был его взгляд.

— А разве это далеко? — с удивлением спросила я.

— Это только кажется, что недалеко, а на самом деле неблизко... Да и волны...

Его слова начали подогрывать мое тщеславие. Этому парню нужно было знать меня, чтобы говорить со мной на столь опасную для моего самолюбия тему. «Мальчик, — с иронией думала я, — тебе еще не известно, что перед тобой находится мастер спорта по подводному плаванию? Нет? Тогда сними свои шикарные очки и посмотри повнимательнее...»

— Ты очень хочешь увидеть того человека, который доплывет до этого камня? — спросила я у Андрея.

— В общем-то, было бы неплохо... — проваливаясь в дрему, промямлил он.

И тогда я вдруг сказала задиристо:

— Тогда тебе придется потерпеть до вечера...

Море было таким искусственно красивым под этим средиземноморским палящим солнцем, что от него было трудно отвести взгляд. Но я уже перестала любоваться им и теперь напряженно глядела вдаль поверх сотен торчащих из воды мокрых голов, туда, где среди белых вскипающих волн высился огромный камень. Он звал меня, манил, дразнил и был, казалось, связан со мной некой прочной нитью, и только невероятным усилием воли я смогла удержать себя от того, чтобы в сей же миг не броситься в воду и не поплыть к нему. Неожиданно боковым зрением я заметила, как неподалеку от нас, словно бы почуввав нечто недоброе, приподняла от песка голову наша Лапицкая и зорко обшарила вертикальными зрачками (о, они угадывались даже за тем-

ными стеклами очков!) каждый уголок пляжа. Верный страж советской тургруппы был всегда начеку...»

Из ресторана мы с Верой вышли тогда, когда над деревьями и над морем разлилась теплая смола. Было хорошо, сумеречно, и пахло югом. Растительность поглотившей нас южной осени источала такой аромат, что кружилась голова.

Верка зажмурила глаза и прислонилась к бархатистому телу огромного разлапистого дерева. Сноп света, упавший от фонаря, высветил на ее лице некую взволнованность. И вдруг (помню, помню: неожиданные выходы или же всплески эмоций всегда были в ее правилах и прежде!) она со стальной ноткой в голосе принялась декламировать:

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.

Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —

Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат...

Она будто бы захлебнулась от волнения и умолкла.

— Ты откуда это знаешь? — с изумлением спросил я.

Она нервно улыбнулась.

— Мы же следим за всем, что у вас ТАМ происходит, в том числе и за литературой... — сказала она. — Ведь нам это очень интересно, потому что это касается и нас...

— А тебя?.. Ты как себя чувствуешь, когда ТАМ, у нас, идет такое?

— Горжусь... А было — стыдилась за то, что ОТТУДА... Скажу тебе честно: здесь давно видели, что ТАМ не все в порядке. Со стороны оно виднее...

— Почему же не говорили нам об этом, почему молчали? Разве друзья могут молчать, когда видят у соседа беду?..

— Они говорили, но кто их слушал! Старший брат был глух ко всему и слеп. «Папа», бывало, только зыркнет недовольно из-под лохматых бровей — и как отрубит...

— Понятно... А сами-то пробовали у себя жить по-другому?

— Пробовали. Но ни «папе», ни его свите это не понравилось, — сказала она, и вдруг в ее голосе вновь заскрежетал металл:

...Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звуки смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марушь...

— Интересно, кем бы я была сейчас у вас, где бы работала?.. — так же неожиданно перестав декламировать ахматовский «Реквием», задала она вопрос.

— А кем ты работаешь здесь? — в свою очередь спросил я.

— В союзе переводчиков...

— Это как?

— Сажу дома и перевожу с русского языка на болгарский книги...

— Художественные?

— О, если бы все так просто было! — грустно улыбнулась она. —

Тут у нас тоже своя кумовщина процветала... Я как-то говорю редактору: «Когда вы дадите мне переводить художественную? Ведь посмотрите, что эти жены и дочери делают... Разве это литературный перевод?» А он мне: «Ну сама пойми, кто я против них?..» Вот так и живем. Короче, одним и тем же дышали, одни и те же пороки и приобрели. Теперь нужно от них избавляться.

Я смотрел на Верку и чуял, что из нее бы получился интересный переводчик. Она была, как мне казалось тогда, в таком состоянии духа, что очень тонко чувствовала и жизнь, и слово, воспринимая их обнаженными нервами.

Назад мы возвращались пешком. Шоссе бежало вдоль моря и было освещено фонарями и луной. Справа серебрилась водная гладь; иллюминированные множеством лампочек-светлячков стояли на рейде большие и малые корабли. Уютно веяло от сочившегося во мраке из окон горных вилл света и от самой наполненной таинственными звуками и пряными запахами южной ночи.

— Ты знаешь, — заговорила она, смеясь, — я думала, хмель надолго поселился в моей голове, а он уже весь вышел... А как ты?

— Все в порядке... Как говорится, можно по новой начинать. А почему бы и нет? Я нахожусь за рубежом, и мне хочется острых ощущений, — пошутил я.

— Однажды мне тоже захотелось этих острых ощущений, — вдруг с иронией в голосе произнесла она. — Только это было давно и не здесь, а в Югославии...

Я глянул на нее и даже в темноте разглядел, как Веркины глаза наполнились далекой бедой. Я хотел о чем-то спросить ее, но не стал этого делать, вспомнив, что она просила меня, пока мы здесь, не ворошить ее прошлого.

«София, 10.03.

Милый друг! Ты такое чудесное письмо написал, что я вроде как побывала дома. И так себе хорошо представила чету Уткиных (помнишь, как ты описал их, вышагивающих чинно друг за дружкой мимо твоих окон?), что расхохоталась от души. Милые-милые тетя Поля и дядя Гоша. Привет им передавай всем большущий — и Ивановым, и Филиновым, и остальным, кто меня знает и помнит. А фотографии, особенно нашего дома, так меня разнежили, что я уже была готова, расправив крылья, лететь к вам. Но это, увы, пока что неосуществимая мечта...

Но я продолжу свой рассказ. На чем мы с тобой прошлый раз остановились?

...Та ночь выдалась тихой и звездной. Звезды низко висели над нашим курортным городком, словно стеклянные новогодние шары. Казалось, протяни руку, а лучше — подпрыгни, и ты обязательно сорвешь одну из них.

Около одиннадцати вечера мы с моим новым товарищем Андрюхой украдкой выбрались из отеля и поспешили к морю.

— У меня такое впечатление, — зашептал мне Андрей почти в самое ухо, — что, когда мы выходили на улицу, я краем глаза видел нашу игуменью... Она была там, в углу, возле входа в ночной бар...

— Ты, наверное, ошибся, — с испугом произнесла я, и по моему телу будто бы расползлись мерзкие холодные змеи.

— Дай-то бог, — с тревогой в голосе сказал он. Андриюша был комсомольским работником, его работа ему нравилась, и он не желал, чтобы какая-то сумасбродка испортила ему карьеру.

На пляже, в том месте, откуда лучше всего было начинать заплыв, прямо на остывающем от жаркого дня песке сидело несколько молодых ребят, которые под гитару пели битловскую «Герл». Я не стала обращать на них внимания и с волнением в сердце принялась готовиться к заплыву, но когда я осталась в купальнике, парни вдруг примолкли, а потом все вместе принялись что-то ободряюще кричать на местном наречии. Я тоже крикнула им что-то вроде «Привет, мальчишки!» и с разбегу бросилась в шумное и ходящее ходуном море.

Помню, только вынырнула — попала в набегавшую волну, которая попыталась выкинуть меня, словно щепку, на берег. Но я обхитрила ее, глубоко под нее поднырнув, а уже следующие валы встречала во всеоружии, то ныряя под них, по перепрыгивая через их гребни.

Когда мне наконец удалось отбиться от берега на порядочное расстояние, плыть стало гораздо легче, меньше ощущалось его притяжение, и сила волн казалась не такой могучей, как прежде. Я не спеша плыла, изредка ориентируясь на желанный камень, освещенный луной, и на душе моей было спокойно. Ну хоть песни распевай! И у меня вдруг неподдельной радостью вырвалось из горла: «Вот так-то, Андриюшечка, знай наших!» Конечно, из-за шума волн эти слова немислимо было услышать на берегу, но мне казалось, мой восторг еще долго висел над ночным морем.

Неожиданно за своей спиной я услышала напряженное дыхание. Я обернулась и увидела, что по направлению ко мне плывет какой-то человек. «Неужели Андрей! Ну дает...» Но вдруг:

— Але! Девушка... Эй, русска девушка!

— Ты кто? Кто такой? — удивляюсь я.

— Я — Войко... Югославия...

— Молодец, Войко, молодец! — кричу, и меня словно бес подстегивает из воды. — Давай, парень, догоняй! — воскликнула я и, сделав резкий поворот, помчалась в глубь моря.

А потом мы сидели с ним на каменном выступе и пытались о чем-то поговорить. Море в те минуты выглядело закипающим котлом, в котором заживо варились наши тени. Невидимая глазу, над нами кружила птица и вещала нам что-то тихое и приветливое.

— Ты молодец, Войко, — говорила я. — Ты смелый парень. — А он, молоденький, худющий, сидел на осколке древней скалы и, как мне казалось, был непомерно счастлив.

Назад мы плыли нехотя и неторопко. Я уже знала, что, когда мы приплывем, я обязательно приглашу Войко в ночной бар. Войко был молодчагой, и он мне нравился. Во всяком случае, гораздо больше, чем Андрей. Я ведь любила всегда отчаянных...

Но вот и берег. Он нас манил и в то же время не пускал к себе: огромные, скатывающиеся с его песчаного тела волны были могучими, поэтому легко, как пушинки, отбрасывали нас назад. И если бы мы с Войко не были хорошими пловцами, то не знаю, смогли бы мы выбраться на сушу самостоятельно или же нет. Но мы выбрались, а потом долго и устало брели вверх по песчанику, счастливые и гордые своей победой.

И вдруг... Пораженная, я замерла в нервном оцепенении и долго потом не могла взять себя в руки. Это казалось непостижимым и неправдоподобным в такую минуту! Ну почему наша душа, созданная природой для счастья, постоянно вступает в противоречия с внешними силами? Что это — закон бытия?

— Ну вот, голубушка, и доигралась! — резанул ее резкий смешок по моему сердцу. — Чуяла я, чуяла, что ты еще та кадра. — Последнее она произнесла так, будто бы всю жизнь прослужила халдейкой в ре-

сторане. — Что, силенок не хватило до Турции-то доплыть? Сочувствую...

— Да вы что такое говорите! — неожиданно возмутилась я диким словам Лапицкой и с надеждой обвела глазами всех, кто был сейчас рядом с нами. Здесь были и друзья Войко, которые с восхищением смотрели на девчонку, поразившую их своей храбростью и искусством плавать, и не могли понять, что вдруг случилось, почему омрачился праздник счастья; здесь помимо Лапицкой и Андрея были и четверо нашеньских, которых мать-игуменья, видимо, притащила на берег вместо понятых. — Какая еще Турция?

— Такая... Капиталистическая, — с ехидством произнесла она. — Красивой жизни захотелось? Я тебе покажу красивую жизнь! Ты меня, дрянь, долго еще будешь помнить...

Это уже было слишком. Оскорблений я никогда не сносила.

— А ну-ка перестань сейчас же тыкать! — громко сказала я и даже топнула ногой. — Вам бы следовало вначале разобраться, а потом... потом... Андрей! — с надеждой обратилась я к товарищу. — Скажи ей, ну скажи, что я только до камня хотела доплыть... Ну что ты молчишь? Разве это не так?

Но Андрей был до того, видимо, перепуган неожиданным появлением на берегу Лапицкой, что в эти минуты, будто бы набрав в рот воды, стоял, не в силах даже повернуть головы. Заячье его сердце дало себя знать...

— Что, уже защитничков ищешь? — сказала она. — Ты Окунева лучше не трожь, у меня с ним будет особый разговор...

И я поняла, что мой Андрюшечка, до смерти перепуганный за свою карьеру, в эту минуту напрочь выбывает из борьбы. Все! Как говорится, ловушка захлопнулась, и не было никого в мире, кто бы смог сейчас помочь мне.

И я заплакала. Громко, навзрыд, так, как никогда еще в жизни не плакала. Нет, мною, помнится, двигал не страх, а обида и боль за себя, за то, что я несправедливо страдаю, что не могу доказать этой мымре, что она не права, мне было больно от того, что люди, окружающие в ту минуту меня, молчат и не хотят мне помочь... «Да что же это такое! — с ужасом думала я. — В какое время мы живем? Неужели, пережив совсем еще недавно такие несправедливые времена, мы так ничему и не научились? Почему мы снова перестаем жалеть людей и несправедливо причиняем им боль?.. О, бедные мои бабушка с дедушкой! Они ведь, наверное, думали, что их насильственная смерть станет уроком для нас, а мы начинаем искать новые жертвы... Кто остановит этот дьявольский процесс? Настанет ли Время справедливости или же этот век так и закончится Веком ненависти человеческой и боли? А ведь моя маленькая боль — это отражение боли большой... И еще несправедливости...»

Я плакала и сквозь слезы видела людские глаза, в которых по-разному отразились огоньки моего горя. Я видела восторженно-злые глаза Лапицкой, сокрушенные и боязливые глаза Андрея, растерянные и озадаченные — четверых нашеньских и, наконец, сочувствующие — югославских парней, которые так, видимо, и не могли взять в толк, чем я провинилась перед этой взрослой женщиной.

...Ночь я провела в кошмарной дреме, как будто легла спать в горящей комнате. Я задыхалась от невыносимого удушья, и у меня впервые в жизни болело сердце. Вот оно, оказывается, как болит...

А утром, чуть свет, меня позвали на собрание тургруппы...»

Ночное шоссе с редкими в эту пору автомобилями не спеша вело нас в сторону Золотых песков. Затяжной подъем наконец кончился, и перед нами разверзлись огнями корпуса Дома журналистов. Мы подошли к изящным воротцам с автоматической задвижкой.

— Ты не устала? Может быть, зайдём в бар? — предложил я, и она с радостью согласилась. И мне стало понятно: Верка даже и на минуту не хотела покинуть меня — ведь я был для нее не кем-нибудь, а тем, кто собой отождествлял для нее далекий ее дом и далекое детство. А времени, чтобы успеть как следует надышаться этим детством, у нее оставалось очень и очень мало.

Я спросил ее, повезло ли ей с семьей.

— О да, думаю, повезло, — с тем же потрясающим акцентом сказала она. — И с мужем, и с дочкой. А почему ты меня об этом спросил? Ты в чем-то сомневаешься? Нет, нет, не сомневайся, у меня и в самом деле все прекрасно... У меня славная семья, и я счастлива... И вообще в Болгарии мне очень хорошо... Веришь?

— Да, да, конечно, верю, — поспешил ответить я. — Разве может быть иначе?

Мы пили коктейль и с любопытством рассматривали танцующих. К полночи их становилось все больше и больше.

Вначале мы были одни за столиком. Но вскоре к нам подошел Анджей, который работал в каком-то крупном спортивном польском издании. Он был необыкновенно возбужден и был настроен поговорить. Все дело было в том, что, пока мы с Верой гуляли, здесь произошло очень интересное событие: журналистская братия из соцстран устроила импровизированный диспут на тему «Перестройка в СССР». И разгорелся такой грандиозный спор, что у многих потом в буквальном смысле слова оказались надорванными глотки. Анджей сейчас был не в себе от охвативших его чувств. И его, и других легко можно было понять — ведь когда такое случалось, чтобы вот так, всем вместе, откровенно поговорить о наболевшем... «Уже спать лег, — рассказывал нам Анджей, — а заснуть не мог. Вот и потянуло в народ...»

— Неужели вы не были на конференции? — недоумевал наш сосед по столику, и я понял, что мы для него стали почти неинтересными собеседниками, ибо его в эту минуту мог понять лишь тот, кто пребывал в таком же состоянии, как и он сам.

К утру, когда у нас открылось, видимо, уже третье дыхание, мы с Верой пошли встречать рассвет на море. Где-то со стороны нашего с Веркой ДОМА уже вставало солнце. Верка первой увидела его и пошла к нему навстречу. Так она шла долго, пока не почувствовала, что дальше дороги нет — море. А я смотрел на нее, и мне казалось, что она готова была сейчас идти и идти вперед — и по воде, и по волнам.

Я подошел к ней и встал рядом.

— Там наш ДОМ, — сказала она, и от того, как она произнесла эти слова, у меня невольно сжалось сердце. — Знаешь, я где-то слышала: нужно быть очень ранимым, чтобы выжить.

Но я не понял ее.

— Помню, когда моя жизнь вдруг по злой воле рока круто изменила русло, я думала, что не выдержу... Теперь-то я знаю, как невыносимо трудно начинать новую жизнь. Когда новые люди, новый язык, новые обычаи. Все новое, а от старого — только я сама. Было, я переставала верить в свои силы. Меня охватывал страх, я задыхалась, умирала... Мне не хватало воздуха, а огонь, как известно, без воздуха не горит, вот и моя душа затихала. Как выжила тогда — сама не пойму. Жила постоянно на одних нервах, вот и истратила их, а вместе с ними и весь запас сил, который отпущен нам природой.

И снова я порываюсь спросить ее о чем-то, но не могу. Она запретила мне обращаться к ее жизни. И себе она это делать запретила, но боль нет-нет да прорвется сквозь запреты.

— Нет, Мишенька, не надо об этом, — чуя мое желание, говорит Вера. — Пусть наша встреча будет посвящена другому... Когда-нибудь в письмах, если ты этого захочешь, я расскажу о себе. А сейчас не надо, потому что это очень грустно...

Повернувшись вдруг ко мне спиной, она пошарила в сумочке, вытащила из нее что-то и положила в рот.

— Ты нездорова? — с тревогой спросил я. — Тебе плохо?

— Знаешь, Мишенька, все это ерунда по сравнению с мировой революцией... Просто я живу сейчас на аварийном фонде моральных сил, — она улыбнулась своей грустной шутке, — а еще на таблетках...

— Скажи мне только одно, — осмеливаюсь я на единственный шаг, — это все от настоящего, отсюда, или же от прошлого?

Верка растерянно пожимает плечами.

— Я говорила уже, что запас моих сил был исчерпан в прошлом... А здесь я, наверное, пополнить его не смогла. Почти не смогла...

«...Собрание тургруппы решили провести внизу, в холле. Первую половину пути я шла туда с высоко поднятой головой, считая себя правой и сильной. Но потихоньку кто-то, находящийся внутри меня, затянул заунывную, душераздирающую песню, какие в старину пели плакали женщины по своим усопшим близким.

— Товарищи... — торжественно-сурово открыла собрание Лапицкая. — Обязана довести до вашего сведения, что в нашем коллективе произошло чрезвычайное происшествие. Вчера поздним вечером член нашего коллектива Лукошок Вера Николаевна пыталась... — Здесь у Лапицкой на мгновение перехватило дух от того, что ей предстояло сейчас сказать. А быть может, эта пауза ей потребовалась для того, чтобы в последний раз подумать и взвесить, а не перебирает ли она в своей жестокой игре, не далеко ли заходит. Но в следующий момент, видимо, успокоив себя и свою совесть, она с легкостью гильотинщика обрубилла все свои сомнения: — Пыталась водным путем добраться до недружественной нам Турции...

Услышав такое, наши дружным вздохом показали Лапицкой свое возмущение и зорко стали всматриваться в мое лицо. И только районный прокурор, не поддавшись соблазну быть замеченным в усердии, с насмешкой вдруг изрек:

— Любовь Ефремовна, Турция-то сегодня в дружбе с нами ходит... И договорчик на сей счет соответствующий имеется.

Лапицкая ничтоже сумняшеся зыркнула на прокурора так, будто бы перед ней сидел бедный партийный секретарь зачуханного совхоза.

— Допустим, допустим... Но ведь она капиталистическая страна... А вообще, стоит ли обсуждать, какие у нас с ней отношения? Главное то, что Лукошок пыталась...

— Так что она пыталась-то, Любовь Ефремовна? — не унимался районный прокурор.

— Она пыталась изменить нашей Родине — вот что! — в запале крикнула она.

Эти слова произвели эффект. И вновь на меня были обращены осуждающие взоры. А у меня будто бы стон вырвался из груди, и я затравленно воскликнула:

— Неправда! Она лжет...

— Я лгу? — ядовито произнесла Лапицкая. — Нет, вы только посмотрите на нее! Я ее поймала на месте преступления, а она еще отказывается... — И тут же, даже не соизволив обернуться: — Ермоленко, Суходоев, Зелина... Кто там еще был? А... Овчинникова... Можете ли вы подтвердить мои слова о том, что вчера поздним вечером Лукошок Вера Николаевна плавала в море?

— Было... Плавала...

— Вы слышали, товарищи? — торжествуя произнесла Лапицкая. — А теперь скажите мне — далеко ли она плавала?

— Ну, если судить... Луна была... Хорошо было видно.. В общем-то, конечно, далеко...

— Ну что? — Лапицкая ликовала — Есть еще какие-нибудь вопросы, или будем принимать решение?

— Товарищи, да не слушайте вы ее! — Возмущению моему не было конца. — Вы спросите лучше у Андрюши Окунева... Андрей, ну скажи же им, что я только до камня хотела доплыть... В общем, я хотела доказать...

Но Андрей, опустив голову, молчал. А мне и невдомек было, что еще ночью Лапицкая провела с ним «разъяснительную» работу, после которой он уже полностью был в ее власти.

— Ну что же ты молчишь? — еще питая какие-то надежды, с отчаянием спросила я.

— А в самом деле, Окунев, почему вы молчите? — подал голос районный прокурор. — Если человек невиновен, вы так и скажите... Взрослый человек, а ведете себя, извините, как напуганная воробьем институтка...

— Помолчите-ка, Юрий Иванович, и не давите на человека, — остановила его Лапицкая, боясь, что Андрюшечка дрогнет. — Да, они пришли вместе на берег, — стала она объяснять за Окунева, — да, Лукошок сказала ему, что хочет доплыть до камня, но ведь она обманула его... Сказала, что поплывет к камню, а сама решила плыть... в Турцию! И проводника с собой взяла...

— Какого проводника? Боже мой! — воскликнула я. — Да это просто незнакомый мне югославский мальчишка увязался за мной... Он даже русского языка-то не знает. Нашли проводника!

— Слышали? Югославский мальчишка... — снова торжествующе проговорила Лапицкая. — Да это самый настоящий проводник! Я когда его увидела — сразу поняла, кто это такой.. Глаза хитрющие, словно у цыгана. В общем, все доказательства налицо. Так, товарищ прокурор, у вас говорят? — глянула она с ехидинкой на Юрия Ивановича.

— Так, да не так, — сказал он. — И вообще, побойтесь бога, Любовь Ефремовна, не мучайте вы человека, отпустите его... Пусть Лукошок лучше отдохнет — ведь ей скоро на занятия в институт. Не для того такие деньги платила...

Лапицкая поначалу опешила от этих слов, но потом быстро пришла в себя.

— Ну, знаете, дорогой товарищ... — уставив на него свои вертикальные зрачки, произнесла она. — А вы, оказывается, страдаете политической близорукостью... Даже некомпетентностью. Я уж не говорю о вашей демагогии... Но ничего, вернемся домой — будем делать соответствующие выводы... Итак, товарищи, — уже не обращая на него ни малейшего внимания, как будто его собственная участь была предрешена, обратилась Лапицкая к собравшимся, — есть мнение отправить гражданку Лукошок в Советский Союз, чтобы там ею занялись компетентные органы... Я тут заготовила письмо... Вы его, пожалуйста, прочтите и, если будете согласны со всеми формулировками, — поставьте свои подписи...

От услышанного у меня что-то перевернулось в сознании. Я чувствовала, что не выдержу этого удара.

Поколению, которое идет за нами, видимо, трудно будет понять мои тогдашние переживания, мой страх. Но мое поколение было еще близко к тем, кто перенес трагедию культа. В нас еще не успели успокоиться взбудораженные всеобщим народным испугом гены, и мы были хрупкими в беде. И когда Лапицкая объявила о том, что меня следует передать неким компетентным органам, чтобы мною занялись, я восприняла это как собственный смертный приговор. Никакой надежды на справедливый исход в душе не оставалось. Безысходность, которой жили предыдущие поколения, вдруг ущипнула мое сердце.

С отключившимся сознанием я рухнула в глубокое кресло и стек-

лянными глазами смотрела перед собой. Люди, увидев мое состояние, видимо, еще больше испугались и, как от прокаженной, разбежались от меня по своим углам. Но мне до сей поры кажется, что им было не слаще, чем мне. И особо это касается Андрюшечки, у которого, верю, в те мгновения тоже что-то умерло внутри, как и у меня...»

— Как быстро летят часы, — сказала она, когда мы уютно устроились в маленькой пивнице и нам подали высокие, наполненные пенистой золотистой влагой бокалы. — Кажется, лишь миг назад произошла наша встреча, а нам уже скоро расставаться... Но я еще мало побывала ДОМА, ты рассказывай, рассказывай... Я хочу слушать тебя.

— Вера, а тебе не хочется вернуться? — неожиданно для самого себя спрашиваю я. — Что тебе мешает? Приезжай да живи...

— О, ты, наверное, забыл, что у меня еще есть муж и дочь, — грустно улыбнулась она.

Я хотел ей сказать, что из всякого положения всегда можно найти выход, но она, будто бы угадав мои мысли, упредила меня:

— Я поняла, о чем ты подумал. Да, да, у меня безусловно очень хорошая и понятливая семья, но нужно понять и их. Их двое, и у них здесь родина. Я, правда, как-то предлагала Стояну пожить хотя бы некоторое время в Союзе. Но у него страшно интересная работа. Он коммерсант и очень предан своей фирме... Нет, это пока что исключено.

Я углубился в свои мысли и стал думать о ней. А еще я думал о том, как это ей удастся угадывать то, о чем я думаю. Я с любопытством посмотрел в Веркины глаза.

— Ты, наверное, удивляешься, что я легко читаю твои мысли? — вдруг ошарашила она меня.

Я еще внимательнее посмотрел в ее огромные, обрамленные болезненной синевой глаза, и мне стало не по себе.

— Что, страшно? — спросила она и засмеялась. — Сама не знаю, откуда это во мне... Может быть, от того самого... Знаешь, чтобы вынести все то, что вынесла я, мне нужно было... Нет, нет, не смотри на меня так умоляюще... Сейчас я ничего рассказывать о себе не буду. Уверяю тебя, я еще напишу об этом в письмах. Ты узнаешь все, но сегодня об этом не надо... Так вот, чтобы пережить то, что пережила я, мне потребовался некий немислимый резерв человеческих возможностей, из которых вдруг и пришло это... Веришь, я вначале даже испугалась, когда вдруг поняла, что в моей голове творится что-то непонятное, что мои мироощущения стали гораздо острее, нервы обнаженнее, а сердце восприимчивее... Одно время не только мне, но и окружающим стало казаться, что я не в своем уме. Меня даже положили в больницу...

— В больницу? — удивился я.

— Ну а что бы ты подумал о человеке, который, живя лишь на одних обнаженных нервах, словно на оголенных электрических проводах, начал вдруг заниматься странными вещами? Ну, например, ходить в церковь, чтобы там пообщаться с потусторонним разумом. А знаешь, я ведь с некоторых пор стала верить в существование этого разума, в то, что мне удалось выйти на него, наладить с ним некую связь... Этого обычный разум человеческий сделать не может, а мой, травмированный, смог...

— Что смог-то? — не понял я.

— Что смог? Да постичь непостижимое, что находится за пределами нашего сознания...

Я пристально взглянул на Верку, желая отыскать в ее лице нечто необыкновенное, но мне это не удалось.

— А ясновидение? — хотел пошутить я.

— И ясновидение тоже, — улыбнулась она. — Я же сказала, что

во мне произошел какой-то поворот. Кроме нервов, во мне еще что-то поднялось на более высокую ступень восприятия, и я могу делать то, что другие не могут. Страшно сказать, но иногда даже предчувствую смерть человека... Мне снятся, как в народе говорят, вещие сны... Так было, например, когда умерла Анна Яковлевна...

— Шумская? — изумился я.

— Да, Шумская, наша с тобой соседка. Мне здесь приснилось, а она ТАМ умерла. А еще я предугадываю землетрясение. Независимо от того, в какой части света оно произошло. Ночью, бывает, проснусь в поту и говорю Стояну: где-то произошло землетрясение, а на следующий день он, пораженный, находит сообщение об этом в газете. А однажды мы собрались всей семьей в кино, но я вдруг чувствую, что туда нам идти не надо... Сказала об этом мужу, но он стал шутить надо мной. А я чувствую, чувствую, и тревога меня странная охватывает. Все же пришли в кинотеатр. Сидим, смотрим фильм. И вдруг... Будто бы люди, сидящие позади нас, стали ногами по полу стучать. Подумала вначале: студенты, что ли, дурью маются? Они обычно здесь фокусы какие-нибудь выкидывают. Но гул рос, и вдруг включается свет, а на нас с обеих сторон стены начинают ползти. Ты представляешь себе такую картину: пол ходит ходуном, а на тебя ползут со всех сторон стены...

— Так что это было?

— Землетрясение, конечно. Много людей тогда пострадало... А нам повезло. Ну а я снова угодила в больницу. Нервы, понимаешь, не выдержали... Вот такие дела стали происходить со мной, с тех пор как меня ТАМ вычеркнули из жизни, — горько сказала она.

«София, 25.03.

Милый друг! С нетерпением ждала от тебя письма, но, не дождавшись, решила писать сама. Понимаешь, отчего-то тревожно на душе...

У нас весна. В этом году она дружная и веселая. На дворе тепло, и со стороны моря уже веет летом.

Но я опять буду говорить о своем. Ведь должна же я когда-нибудь закончить свой рассказ. Очень тороплюсь. Дело все в том, что у меня вновь начинаются страшные головные боли. Как наступает весна — так эти боли. Боюсь, как бы мне опять не оказаться в больнице. А я предчувствую что-то недоброе, и если учесть, что мои предчувствия, как правило, сбываются, то... Но ты, Мишик, просьбу мою, тем не менее, выполни и вышли приглашение на проезд в НАШ город. Я так хочу побывать у себя ДОМА и показать своим мою милую, тихую родину... Верись, я объехала за эти годы полсвета, но ничего подобного не встречала. Хотя при встречах отец мне твердит: это в тебе детские впечатления играют. На самом деле ничего особенного — обычный заштатный городишко... Но я не верю ему.

...А тогда меня из Югославии все же не прогнали. Видимо, Лапицкой не хотелось взваливать на себя лишние хлопоты с моей отправкой, и она решила не портить себе отдых. Ну а чтобы я, как она выразилась, не выкинула очередной фортель, вместе со своим «активом» устроила мне прямо в отеле тюрьму. Делалось это так: после завтрака мои опекуны вели меня чуть ли не под руки в мой номер, впихивали меня в него, запирали и выставляли возле дверей охранника. Охранники назначались, согласно очередности, из членов нашей тургруппы.

Сегодня мне уже не передать той горечи, тех страданий, которые я испытывала, когда меня, молодую девчонку, только начинавшую познавать жизнь, взрослые дяди и тети, забыв о гуманном начале своем, подвергали столь унижительным испытаниям. Естественно, не все они были плохими людьми, и я чувствовала, что многим из них неловко

было за свои деяния. Но тем более поразительно то, что никто из них не спохватился и не остановился. Что это — врожденная рабская покорность или же приобретенный в недалеком прошлом страх за свой живот?..

Но вот мы вернулись на Родину... Тебе никогда не приходило в голову, как по-матерински тепло звучит это слово, какой надежностью, прямо святой чистотой дышит оно?..

Моя память лихорадочно вырывает лишь отдельные фрагменты тех дней и пытается логично сплести все это в цельное представление. Но не удается... Слишком напряженным было мое существование, слишком тревожными были нескончаемые дни и бессонные ночи, когда я сходила с ума от неопределенности своего бытия. Видимо, поэтому не хватило сил, чтобы запечатлеть все мои страдания в памяти, и лишь душа болит, растревоженная прошлым. Помню, как я стиснула зубы и решила не терять присутствия духа, не размазываться по стенам, а выстоять и выдержать все, что свалится на мою голову...»

Прочтя эти строки, я вспомнил о том, как еще в Болгарии она поведала мне одну историю, связанную с трагедией ее родственников.

В общем, жили-были на свете два друга, два старых большевика. Рука об руку прошли они огонь гражданской, а потом вместе стали строить новую жизнь в стране. Но вот тихо подкрались времена, когда судьба стала испытывать людей на прочность. Один из друзей, стиснув зубы, решил достойно пронести свою совесть по дорогам жизни, не бросая ее к ногам страха. Второй же друг был страшно напуган тем, что творилось вокруг, и каждую ночь не смыкал глаз, ожидая, что вот скрипнет калитка, раздастся стук в дверь и... У него даже на всякий случай было приготовлено бельишко, сухари и табачок в дорогу... Короче, арестовал сам себя человек, сидел в одиночке собственного дома, и в его голову полезли дурные мысли. А вскоре великий страх привел его к той самой черте, где начинается подлость людская. Однажды он вдруг начал перебирать в памяти тех людей, которые больше всех знают его, лучше всех осведомлены о его слабостях, за которые он и боялся поплатиться. Вот тут он и вспомнил своего дружка закадычного. «От него придет беда», — решил он и кинулся предупредить эту беду. Так и родилось подметное письмо. И вскоре его друг — да не один, а вместе со своей женой — в застенке оказался.

Тем временем на клеветника вдруг нашло прозрение, он с ужасом осознал, что он натворил. Так вот родилось его второе письмо, в котором он сознался в своей скверне и объявил друга невиновным. Не смея после этого смотреть людям в глаза, он покончил с собой, веря, однако, что справедливость восстановится, и его друга обязательно отпустят на все четыре стороны. Увы, уже было поздно: сталинская машина успела перемолоть Веркиных деда и бабушку и бросить к миллионам могил таких же невиновных людей, как и они...

«...Все началось так быстро, события разворачивались так стремительно, что я была поражена. Вот, думала, добрые бы дела так же быстро делались...

Вначале вызвали в горком моего отца и вlepили ему строгача за то, что он не смог как следует воспитать свою непутевую дочь. Вернувшись домой, отец, даже не разобравшись в сути дела, впервые в жизни поднял на меня руку... Это было началом конца. Я со страхом подумала: коли уж мой отец поддался этой изуверской волне, чего тогда можно ожидать от других?

А по городу тем временем поползли слухи. Однажды, выйдя из дома, я нос к носу столкнулась с одним нашим институтским дурачком, который, даже не успев со мной поздороваться, спросил:

— Ты это правда в капстрану хотела смыться?..

Ну что я могла такому сказать? Неужели, думала, мне теперь нужно будет доказывать каждому встречному, что я не крокодил, что я

люблю свою страну и никуда из нее уезжать не собираюсь...

А тут начались занятия в институте. В первый же день, придя на лекции, я, хотя и была ко всему уже готовой, с ужасом прочитала вывешенное на видном месте объявление: «Внимание! Сегодня в 16.00 в большом актовом зале состоится общеинститутское комсомольское собрание. Повестка дня: слушание персонального дела студентки третьего курса филфака Лукошок В. Секретарям факультетских бюро и групп-комсоргам обеспечить явку своих комсомольцев».

Ну вот, подумала, машина начала набирать ход. Остановит ли кто-нибудь ее?

Потом после каждого часа лекций ко мне подходил кто-нибудь из комитетских и напоминал, чтобы я обязательно была на собрании, иначе мне несдобровать.

В 16.00 актовый зал уже представлял собой большой муравейник...

На собрание я шла хотя и страшно взволнованной, но с некоторой верой, что вот, наконец, сегодня все встанет на свои места и из меня прекратят тянуть нервы. Конечно, накажут, тем не менее уже завтра для меня начнется обычная жизнь; я окунусь с головой в учебу и постепенно смогу войти в привычное душевное русло. Но, когда в президиуме собрания я увидела вертикальные зрачки Лапицкой, которые напряженно всматривались в зал в поисках своей жертвы, я поняла, что дело мое швах.

Кроме Лапицкой в президиуме восседали секретари горкома комсомола и наши институтские руководители. Глядя на них, я подумала: «Нет, такие маскарады просто так не устраиваются. Без всякого сомнения, здесь скоро запахнет кровью...»

О, нужно было побывать в моей шкуре, чтобы понять, что я тогда ощущала! Когда каждый щупалец моих нервов был на страже и с болью улавливал даже малейший шорох в зале. Когда силы оставляли меня и не хотели больше возвращаться. Я смотрела из зала в президиум, а мне казалось, что я гляжу в черный кружок дула винтовки, направленный мне прямо в лоб.

Обрывки, ленточки памяти... Да, трудно ее собрать воедино, коли и в те далекие уже минуты я не способна была целостно охватить события. Стоя на сцене перед огромной аудиторией, я уже ничего не понимала и только дергалась под ударами, которые сыпались на меня со всех сторон. Как меня только не оскорбляли! Видимо, во все времена у подобных экзекуций цель одна — сломить человека. Не уничтожить, а именно сломить.

Было, когда слова, обращенные ко мне, уходили мимо моего сознания, и тогда кто-то говорил-де, молчание — знак согласия. Но знал бы он, знал бы мое состояние!..

Помню, как окончательно, даже не глядя в мою сторону, унизил себя в моих глазах (да что ему мои глаза!) Андрюшечка.

— Да, она поплыла... Да, в сторону Турции...

Какая это была собачья чушь! Как все это напоминало времена «чистосердечных» диких признаний, когда человеку подписывался в том, что он есть шпион вражеской разведки... «Как мы еще все-таки больны, — слушая все это, с горечью думала я. — Как мы больны...»

С болью вспоминая те горькие минуты, не могу все же не сказать и о том, что были среди слов и речей нелепых голоса и мысли здравые. Кому-то, помнится, не нравилась бездоказательность обвинения, кто-то считал версию неуклюжей и смешной, кто-то откровенно возмущался ходом собрания. Теперь-то мне ясно: это, несомненно, было то здоровое начало, которое привело к оздоровлению сегодняшнему, тот маячок, на который потом сориентировались умные головы... Сейчас это сила, ну а тогда это были просто-напросто несознательные «инакомыслящие», и их никто не слушал, поэтому вердикт мне вынесли, как тогда казалось, смертельный: исключить из комсомола... А на следую-

ший день, когда я, подавленная и униженная, сидела на лекции, в аудитории вошел наш декан.

— Лукошок здесь? Так, хорошо... Соберите свои вещи, Лукошок, и покиньте аудиторию... Вы исключены из института.

Вот так началась для меня черная жизнь, когда я была в полном смысле этого слова поражена в правах. Куда я только не ходила, куда не обращалась, чтобы мне помогли, но тщетно. Меня даже на работу не хотели принимать. Единственно, кто меня тогда не чурался, так это наш участковый, который откровенно стал следить за мной, а однажды вызвал к себе и взял подписку о моем невыезде из города... Добитая этим, я сказала ему, что в средневековье с «ведьмами» поступали куда как гуманнее — их просто сжигали на костре и не мучили...

А однажды я собрала оставшиеся в себе силы и убежала из родного города. Долго плутала по стране, пока, наконец, не оказалась в столице. Нужно, думала, стиснув зубы, терпеть и дожидаться тех времен, когда борьба будет вестись на равных. Хотелось дождаться — не дождалась. Появился Стоян...

Он тогда был в командировке в Москве. Позже он говорил мне: «Когда я тебя в первый раз увидел — понял: это ОНА...» Не знаю, правда это или нет... Стоян нашел повод познакомиться со мной. И я, поверив его добрым и умным глазам, сказала ему, совершенно незнакомому человеку, что мне очень трудно и плохо. Чем он мне смог помочь? Да тем, что предложил мне стать его женой... Конечно, это я сейчас понимаю, что встретила прекрасного человека, но в тех обстоятельствах это была для меня просто-напросто спасительная соломинка. Только это и ничто иное, — но я смогла дожить до сегодняшних светлых дней. Вот потому и счастлива. И благодарна здешнему, болгарскому, дому, что он приютил меня и обогрел... А ты говоришь, не подумать ли мне о возвращении. Дескать, у нас за эти годы изменилась политическая и нравственная обстановка, в Союз потянулись бывшие изгои, и это-де главный показатель нови... (О, бедная Русь! Трудно и криво срastaются кости ее судьбы...) Но ведь я здесь счастлива, ты это понимаешь, Мишик? Нет, у меня разрывается сердце... Я живу в одном доме, но меня телят в другой. Что это? Ностальгия? Нет, я давно ею переболела, не может быть!

Мишенька, страшно болит голова! Я прямо схожу с ума. Ты прости меня, но я до поры отложу наш разговор. Думаю, все будет в порядке...»

Но закончить письмо, она видимо, уже не смогла, потому следом за ее строками шла небольшая приписка, выполненная легким изящным почерком:

«Дядя Миша! Вы простите меня, что я вынуждена дописать письмо за маму. Она сейчас в больнице, ей очень плохо, и мы очень опасаемся за нее. Приглашение Ваше мы получили, только вот сможем ли воспользоваться им?... До свидания. С уважением, Иванка».

Мы стояли на остановке и ждали автобус, который увезет ее в аэропорт. Грустно прощались. Я поднял глаза в небо и не мог опустить их на землю. А ведь еще вчера уверял себя, что прощание наше будет радостным, потому что мы, друзья, сумели после долгих лет разлуки все-таки отыскать друг друга и уж теперь-то не порвем нашу связь никогда. Но то было вчера, а сегодня... Я уж не говорю про Верку. Она замерла возле меня бледным манекеном и, кажется, ничего уже не видела.

— Ну что ты молчишь? — сказал я, пытаюсь вывести ее из этого состояния, но она стояла и не смотрела на меня. — Значит, договорились, — силится я быть бодрым, — я высылаю весной приглашение — и

вы все втроем приезжаете к нам в гости. Глядишь, понравится — и останетесь. Ведь может же такое случиться?..

Взглянул на нее краем глаза, а она этак печально улыбается. Видимо, не верит в реальность моих слов.

— Время бежит быстро, — продолжаю я бодриться. — Не успеешь оглянуться, как мы вновь встретимся...

Но она была безутешна.

— Ты хоть не забывай — пиши... — тихо сказала она и посмотрела мне в глаза.

— Мы же договорились...

Приморское шоссе жило своей шумной и неутомимой жизнью. Мимо нас, словно угорелые, проносились автомобили с разноцветными номерами, собранные под балканскую сень со всех концов света, и обдавали нас гарью и ветром путешествий. Из-за садов, со стороны моря, время от времени катились тяжелые вздохи волн. И было не понятно, то ли радоваться этой поре межсезонья, то ли грустить.

Веркины губы тихо зашевелились:

— Ты задумывался когда-нибудь над тем, что заканчивается этот долгий двадцатый век?

— Да уж, не век, а целое тысячелетие...

— Но я о веке... Говорят, когда кончается век, то обычно хочется пожелать счастья людям следующего века. Мы думаем, что уж те-то обязательно будут счастливы, что они достигнут того, чего не удалось достичь нам. А этого не бывает. Но почему? Кто не велит людям жить лучше, быть добрее друг к другу, честнее, человечнее?.. Да сами мы и не велим этого себе, оттого и страдаем. Темные мы еще и далеко не просвещенные. И никакие реформы не смогут переделать нас в одночасье. Поэтому жить нам еще и жить до полного совершенства, если, конечно, оно где-то есть. Как ты думаешь, может ли когда-нибудь человек приблизиться к эталону совершенства?

«А есть ли сам эталон?» — в свою очередь хотел спросить я, но она прочла мои мысли и грустно улыбнулась.

— Потому и маемся, что не знаем, как жить, — сказала. — Во всяком случае нам в нашем веке пришлось пострадать, и немало. Будто бы не умению жить учились, а умению терпеть...

В этот момент из-за поворота вырос большой красивый автобус и направился в нашу сторону.

— Вера... — кивнув в его сторону, сказал я, и в ту же секунду она забыла о своих словах, о своей философии и со слезами на глазах бросилась мне на грудь.

— Мишик!..

Она замерла, обняв меня, и казалось, что мы расставались на всю жизнь. Сказать откровенно, и мне не очень верилось, что наша следующая встреча не за горами. У меня было такое впечатление, что мы живем на разных планетах, и добраться с одной на другую очень и очень трудно.

— Передавай привет всем нашим, — шепнула напоследок она. — Скажи им, что у меня все хорошо, что я счастлива, что у меня замечательная семья. — Голос ее дрожал и сбивался на всхлип. А когда я подтолкнул ее, чтобы она наконец отпустила меня и поторопилась к автобусу. Верка не выдержала: — Ну разве я виновата в том, что я здесь?..

Автобус покатило под гору и вскоре растворился в зеленых холмах. И только ее глаза, печальные и растерянные, еще некоторое время жили вдали.